



П. П. ПЕРЦОВ

**Рец.: В. Розанов, «Опавшие листья»,
СПб., 1913**

Вот перед нами книжка, которая многим покажется странной, но которую «друзья Розанова» (а их много) тотчас же оценят, как *его* книгу.

Своеобразнейший из «русских» писателей должен был рано или поздно найти эту «свою» форму. Ряд отдельных заметок, отрывков, записей, точно на блокноте или отрывном календаре — записей почти ежедневных обо всем, что «подумалось», было замечено, услышано, припомнилось... И прежде всего — заметок о *своих*, о «ближних», понятых не в новозаветном, а в том извечном, ветхозаветном смысле, которому одному всегда верен Розанов. Здесь мы с ним вместе «дома» — там, куда никогда не пускали нас до сей поры «писатели», да нам и в голову не приходило «попроситься». Но для Розанова нет этой самой грани, неприступно делящей «жизнь» и «литературу». Сам блестящий писатель, он недаром роняет афоризм: «писательство есть несчастье» (с. 35). Литература не существует для него как «профессия», как «служба», куда прикажете? в виц-мундире и с застегнутой на четыре пуговицы душой. И вот почему он мог сделать то, на что не решился бы ни один «профессиональный» писатель: он прилагает к этой книжке ряд семейных портретов и говорит-рассказывает интимное своей жизни, биографии, своей души. Удивительная, странно-единственная книга, как странен единственный в своем роде ее автор.

Всякая цитата из этой книги, из интимных ее страниц была бы ошибкой: так меняется тон их, будучи выхвачен из живой ткани целого. Книга Розанова есть именно *живая* книга, осколок пережитой и переживаемой жизни, претворившийся в слова и сорвавшийся в литературу...

Кто знает книжку «Уединенное», выпущенную им в прошлом году, представляет себе и эту книгу, которая является как бы вторым ее томом. Но в отличие от «Уединенного», эта книга менее боевая, менее суровая, менее проповедническая и еще более замкнутая в себе и лирическая. Порхает порою насмешка, вспоминаются други и недруги, сердит политика — совершенно чуждая для автора область (и страницы о ней самые слабые), мелькают философские «размышления»... Но это все на периферии; внимание скользит и быстро обращается снова «вовнутрь», «к себе домой» — туда, где ждут любимые облики, «свой» уют, любимые досуги «за нумизматикой» и немногие, неведомые миру друзья. Кому чужд Розанов, — будет чужда и эта книга; но для «своего» она будет «своей».

Самое интересное «общего» характера — это признание: «От роду я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло... Напротив, Ветхим Заветом я не мог насытиться» (с. 255). Тоже странно-единственное признание... И в свете его вдруг раскрывается весь писатель и весь человек. Да, это древний израильтянин перед нами, чуждый всякой общественной жизни, всему «римскому» и идущему от Рима, но счастливый в шатре своем и под смоковницей своею, где он мыслит, богословствует и изредка записывает и кидает нам эти листки «на обороте транспаранта» (с. 435).

